

---

---

Алла МЕЛЕНТЬЕВА

## МОЯ ДАЧА В СТЕПИ

### Документальная повесть

Когда я родилась, дача уже была у нашей семьи много лет — лет десять или больше. Дату ее появления можно легко вычислить по названию дачного поселка: кооператив имени сорокалетия Октября.

Я помню старую фотографию: моя мать, совсем молодая, похожая в купальнике на фотомодель, позирует отцу посреди степи. Поодаль видны неотчетливые силуэты людей, которые что-то копают или, сидя на корточках, устраивают грядки.

Фотография маленькая, размытая, любительская, зубчатые края обтрепаны и частью обломаны. Но главный смысл ясно прочитывается: переселенцы осваивают степь. Фотография зафиксировала начало нашей дачи.

Глядя на тот снимок, я всякий раз удивлялась, как быстро способен изменяться мир. Было трудно поверить, что наша заросшая, обжитая и даже уже немного разваливающаяся дача была относительно недавно просто частью степи с выжженной на солнце травой.

\* \* \*

Добираться туда было долго. Поездка была маленьким путешествием с двумя «пересадками»: с троллейбуса на трамвай и с трамвая на дачный автобус.

В обычные дни троллейбус забит битком, свободных мест не бывает. Но мы с мамой ездим на дачу по утрам в выходные, когда народу мало, а как только мы выезжаем из центрального района, троллейбус и вовсе пустеет. Теперь можно вообразить, что он везет только меня и маму, что он — наш собственный транспорт, из-за чего у меня всякий раз возникает тайное ощущение исключительности.

Долго-долго ехать в троллейбусе, разглядывая из окна места, в которых я никогда не могла бы оказаться по другим случаям, — это отдельное развлечение. Это было примерно, как в наше время рассматривать панорамы на Гугл-карте, — знаешь, что вряд ли когда-нибудь побываешь в этих местах, но все равно интересно, потому что все выглядит как настоящее. Город для меня ограничен тремя улицами: центральной, где я живу, и двумя, идущими параллельно к ней с обеих сторон. Мне не разрешают

---

Алла Мелентьева родилась в Донецке. Окончила СПбГУ (филологический факультет). Работала информационным аналитиком в ИА «Росбалт». Пишет прозу и сценарии. Независимый исследователь, литературный критик. Автор книг «Девушки Достоевского» (Лимбус пресс, 2005) и «Семья Рин» (КСД, 2016). Публиковалась в журналах «Новый берег», «Дружба народов», «Литература», «Студия/Studio», «Процесс», «Кольцо А», «The London Magazine» (Великобритания). Лауреат премии им. Марка Алданова («Новый журнал», 2014), дипломант международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2015» (Германия), специальная премия жюри конкурса им. В. Короленко (СПб., 2015), финалист конкурса «Время драмы, 2016», шорт-лист конкурса «Новелла по-украински» (журнал «Країна», Украина, 2017).

одной уезжать далеко от дома и долго еще не будут разрешать: для маленьких девочек это небезопасно: Донбасс — что-то вроде украинской Сибири, только в Сибири тайга, а у нас тут — степь. Как и в Сибири, в наших краях полно бывших уголовников и личностей с сомнительным прошлым — их привлекают высокие шахтерские зарплаты. Но кроме шахтеров на Донбассе постоянно нужны квалифицированные специалисты технического профиля, которых государство заманивало сюда после войны не только зарплатами, но и квартирами в центральных районах, перспективами быстрого карьерного роста и другими преимуществами. В результате получился интересный сплав населения: бандитский, высокоинтеллектуальный и многонациональный. Потомки дворян и духовенства здесь тоже не редкость — их предков, идеалистов былых эпох, Донбасс притягивал огромным полем деятельности для «служения простому народу», не говоря уже о распространенном мнении, что здесь легче избежать репрессий, потому что донецкие степи и так своего рода ссылка.

\* \* \*

Троллейбус неуклюже, как корова, сворачивает с центральной улицы. Село начинает резко доминировать над городом. По сторонам дороги тянутся заборы и белые дома, отличающиеся от хат только тем, что крыши покрыты шифером, а не соломой. Заборы и хаты. И проулки, в которых ничего не разглядеть за разросшимися кустами и, опять же, заборами. Город в этих местах обозначен лишь спорадически, так сказать, штрихпунктирно, отдельными зданиями, чаще всего административными. Это старая часть Донецка, сохранившая облик начала столетия, но я этого не знаю. Для меня это презренный «частный сектор».

— Мама, как мы оказались в Донецке?

— Отец так решил. Когда мы уезжали из Германии, нам дали «свободное распределение», — говорит мама и спрашивает меня: — Ты знаешь, что такое «свободное распределение»?

Я мотаю головой, откуда же мне знать, десятилетней девочке.

— Это значит, что после возвращения из-за границы мы имели право получить прописку в любом городе.

— В любом? Вообще в любом-любом? Даже в самой Москве?

— Да, даже в Москве, — подтверждает мама.

Эта неслыханная привилегия ошеломляет меня. С раннего детства я усваиваю понятие «прописка» — она довлеет над всеми нами, определяет жизнь любого советского человека. Без прописки жить нельзя, и нельзя жить не по прописке. В таких условиях даже десятилетней девочке понятно, что поселиться в Москве, самом престижном городе Советского Союза, просто так нельзя, такое бывает возможно только в исключительных случаях. И вот, оказывается, такой исключительный случай когда-то выпал нашей семье в виде «свободного распределения»!

— Почему же вы не поехали в Москву?

— Твой папа не захотел.

— Но почему??

— Кто его знает. Не захотел, и все. Сказал: «Поедем на Донбасс».

Я не нахожу слов. Мне совершенно очевидно, что, единственным правильным решением при «свободном распределении» было прописаться в Москве. Как мог отец этого не понимать?

— Разве ты не могла уговорить его, чтобы вы распределились в Москву?

Мама разводит руками.

— Разве бы он меня послушал?

Отец и мать поженились в Германии, где оба работали в урановой лаборатории в городе Карл-Маркс-Штадте. Там родилась моя старшая сестра, получив повод хвастаться перед подружками своим «немецким» происхождением. В нашей квартире много вещей, привезенных из Германии. Отец до сих пор читает книги на немецком. Но я уже не имею к Германии никакого отношения. И также не имею никакого отношения к Москве, где могла бы родиться, если бы мои родители правильно — в моем понимании — распорядились «свободным распределением». Мне суждено быть маленькой дончанкой, едущей с мамой на дачу субботним утром в пустом, залитым солнцем троллейбусе в конце 70-х годов прошлого века.

— Но почему он все-таки не захотел в Москву?

— Вот приедем на дачу, спросишь его сама, — говорит мама, посмеиваясь.

\* \* \*

Мы доезжаем до предпоследней остановки троллейбуса и сходим на площади у металлургического завода. Следующим пунктом на нашем маршруте становится остановка трамвая. Чтобы добраться от «троллейбуса» до «трамвая», нам предстоит преодолеть некоторое пространство, которое каждый раз поражает меня вопиющим сочетанием несочетаемого.

Когда-то это был отдельный поселок, и порядки здесь по-прежнему ближе к сельским. Все больше пожилых женщин, которые попадают навстречу, — в платках. Мама давно свернула свою городскую сумку и несет ее в ведре, которое мы, конечно, захватили с собой — ведь надо же в чем-то везти домой то, что мы соберем на даче.

Площадь, на которой мы сошли, пустая и строгая, с несколькими зданиями в стиле привычного для парадного Донецка неоклассицизма (или это все-таки «заводской ампир»?) и группкой хрущевек, тянущихся вдоль примыкающей улицы, — единственная урбанистическая прогалина в безбрежно раскинувшемся поселке, за крышами которого маячат в летнем мареве трубы и градирни промышленных зон. Я, несостоявшаяся москвичка, крайне ревностно отношусь к понятию городской регулярности; мне кажется фантастическим и почти кошунственным, что два разных уклада жизни — городской и сельский — существуют вперемежку без четких границ. В центральных районах не увидишь многоэтажный дом рядом с чьими-то огородами — там городские и сельские кварталы разведены между собой, иерархически размежеваны, разделены улицей или какой-то промежуточной архитектурной, вроде автопарка или сквера. А здесь, вдали от центра, частные дома нагло стоят впритык к официальной площади, а деревянный забор у ближней к заводу управлению усадьбы совсем низкий, как будто ее жители специально выставляют напоказ свою сельскую суть. Поднявшись на цыпочки, я заглядываю через ограждение и вижу грядки с огурцами.

На трамвайной остановке нас ждет новая порция впечатлений: гастроном на углу и универмаг «Радуга» чуть выше по пригорку, откуда должен скатиться трамвай.

Сперва мы зайдем в гастроном и посмотрим, что там «дают». Магазин — полутемный после залитой солнцем улицы и всегда почему-то пустой — навсегда запоминается мне бодростью субботнего утра. Полы из белой плитки, за окнами порхают голуби, дверь распахнута настежь, что очень удобно: можно вовремя заметить, не трюхает ли трамвай к остановке. Даже полутьма не угрюмая, а приветливая, приятно прохладная.

Ожидания насчет «дают» имеют под собой некоторые основания: принято считать, что поселки вокруг шахт снабжаются продуктами лучше, чем центр города. Мы живем в стране рабочих и крестьян; труженикам, рубящим уголь в шахтах, положено

все самое лучшее, им нужно хорошо питаться, ведь они делают очень важное дело — обеспечивают нас топливом. Но все же это лишь общепринятое заблуждение, народное поверье, оставшееся от прошлых десятилетий. Если такое и было раньше, то теперь все сравнялось. Здесь обычно ничего не «дают» и не «выбрасывают дефицит». Зато тут всегда можно рассчитывать на полный набор стандартного советского магазина «Продукты». В кондитерском отделе есть многое из интересующего меня перечня: пастила, батончики, ириски «Золотой ключик» и «Кис-кис», белковые пирожные с шапкой белого крема, мягкого внутри и хрустящего на поверхности. Да и халва — неплохо. На худой конец подойдут помадки, похожие на затвердевшую выветрившуюся сгущенку. Иногда, к моей радости, бывает плиточный ирис — это уже почти дефицит.

Ирисовые плитки, бутылка ситро, четвертинка хлеба, «Любительская» колбаса в нарезке и пара сырков «Дружба» — вот результат нашего набега на гастроном.

И как обязательный ритуал — стакан сока из стеклянного конуса для меня.

— Есть сливовый, яблочный, виноградный, — продавщица педантично, будто учительница, объясняющая решение задачи у доски, стучит пальцем по сосудам со сливовым, яблочным, виноградным соками. — Какой ты будешь?

Поколебавшись, я выбираю сливовый. Продавщица подставляет под конус стакан, привычным точным жестом поворачивает краник. Я знаю, что сок — обычный, такой же, как и везде, но весь этот антураж: деловитая сосредоточенность продавщицы, вытянутый стеклянный сосуд, поблескивающие краники — магически влияет на его свойства. Сок из конуса воображается мною более насыщенным, более «настоящим», более близким к идеалу, чем сок из банки, точно так же, как подкрашенные зеленым или красным красителем завитушки из белкового крема на пирожных кажутся обладающими более изысканным вкусом, чем простой белый крем.

Выйдя из магазина, мы переходим трамвайную линию, попутно справившись у людей на остановке, давно ли ушел трамвай. Если недавно, то в универмаге можно побыть подольше.

Сперва мне покупали там игрушки, чаще всего какие-нибудь наборы топорных пластмассовых фигурок или пестрые коробки с играми, которые надоедают еще до того, как изучишь инструкцию с правилами, сложенную гармошкой между раскрашенными картонками.

Затем игрушки сменились пластинками.

— Мама, давай купим вот эту пластинку.

— Что ты опять выдумала? Какая пластинка, зачем — мы же на дачу едем? Поставь обратно. В другой раз. Я денег с собой не взяла. И положить ее некуда. Ты ее разобьешь. Ну ладно, купим. И эту? Ладно, и эту.

Пока мама расплачивается у кассы, вздыхая от мысли, что она меня разбаловала, я успеваю брать от жизни все: засовываю за щеку мягкий ломтик ириса, глажу потягивающегося на подоконнике кота и глазею на разряженную продавщицу из отдела гардин, похожую в окружении пестрых тканей на деву из восточного гарема.

Я могу видеть этот универмаг и сейчас — на серии фотографий в Интернете, на каком-то коммерческом сайте, где нынешний владелец предлагает его в аренду: квадратная трехэтажная коробка с выложенными кирпичом украинскими узорами над верхним этажом. Зал пуст, не осталось никаких признаков, что здесь когда-то был универмаг, но я все равно узнаю его — да, это то самое помещение, а вон там — тот самый подоконник, где лежал кот. А немного поодаль девушка-продавщица, отодвинув край пышной гардины, сплетничала о чем-то с продавщицей из другого отдела. Ничего страшного, что внутри ничего не осталось — я вытащу все нужные элементы из памяти, мысленно отреставрирую, восстановлю, подлатаю, расставлю по местам —

на то я и писательница. Мир прошлого легко разрушается, оставляя после себя лишь размытые очертания, и с этим ничего не поделаешь. Но мысль, что разрушения происходят постепенно, что что-то еще все же остается из времен детства и этих остатков хватит на наш век, — эта мысль призвана смягчать неизбежность утраты, создавая утешительную иллюзию присутствия прошлого.

\* \* \*

На остановке мы укладываем пластинки так, чтобы они не сломались. Мама по-прежнему ворчит, что мы потратили слишком много на ерунду: ее детство и юность пришлось на голодные времена, в ее сознание вбито, что детей для их пользы нужно заранее приучать к материальным лишениям. Ее ворчание — неумелый компромисс с собой, она не в силах отказать мне в моих просьбах и теперь пытается компенсировать свой воспитательный провал слабым показным возмущением. На самом деле это вовсе не слабоволие, а наиболее естественное и единственно правильное поведение — ведь когда еще баловать своих детей, если не в самое благополучное за все столетие время в стране, где ничего не гарантировано надолго, и каждое последующее десятилетие чревато новыми катастрофами или, по меньшей мере, предвещает их грозное приближение.

Трамвай никак не идет. Я смотрю, как серебрится на солнце листва, смотрю на крыши уходящего в степные склоны поселка, на очертания одичавших посадок и заводских территорий вдаль. Из-за жары и промышленной пыли все объекты у линии горизонта укрыты синеватой дымкой, что придает местности легкий романтический флер. В этих частях города сильно ощущается присутствие степи. Степь — стихия, такая же, как море, горы или тайга. Чаще всего она бывает опасной, неуправляемой и не подходящей для жизни, но летом приобретает свою наиболее приветливую ипостась, с которой я, убежденная десятилетняя горожанка, легко мирюсь и уживаюсь.

Я зачарованно всматриваюсь в синие степные низины и все больше ощущаю, как растворяюсь в пространстве, проникаюсь им, мой мозг уже не различает границы моего тела, я — везде, я — это летнее утро. Если летнее утро может мыслить, то оно мыслит мной, через меня. Мне с мучительным восторгом, до стискивающего ощущения в горле, хочется навечно запечатлеть это состояние блаженной невесомой растворенности себя во всем. Но это не фаустовское упивание совершенством остановленного мгновения; это больше похоже на деятельное и даже немного хищное желание присвоить себе и заново создать — с поправками и улучшениями по собственному произволу — растворившую меня часть мира. Я тихо тягаюсь со Вселенной, пытаюсь ментальным усилием сдвинуть на себя энергетику этого места и времени. «Как бы сделать так, чтобы это — все, что вокруг — осталось навсегда?» — прикидываю я. Так проявляет себя в спонтанном виде мое призвание, моя будущая профессия. Это жажда творца. Она не имеет практического смысла, но на шкале ценностей человека стоит намного выше любого практического смысла или, по крайней мере, большинства из известных мне на тот момент смыслов. С семи лет я точно знаю, что стану писательницей.

Застыв в этой нечаянной медитации, я слегка вздрагиваю, когда мама окликает меня — с пригорка наконец катит трамвай. Двери вагона распахиваются, мамино ведро звякает, задевая ступеньки в салон.

\* \* \*

Трамвай тарыхтит по залитой солнцем широкой дороге. На этом отрезке пути нет ничего интересного, лишь заборы-дома-заборы-пустыри-заросли вдоль обеих сто-

рон обсаженной деревьями улицы. «Интересное» начинается, когда трамвай достигает кольцевой остановки — последнего фрагмента городской жизни на южной окраине.

Здесьняя архитектура возводилась той же волей, что создала неоклассический ансамбль у площади металлургического завода, в той же манере и в те же времена. Но площадь символизирует труд и дисциплину, а эти кварталы застраивались с мыслью о культурном досуге трудящихся; трамвайное кольцо изящно замаскировано под сквер, на другой стороне перекрестка за оградой — не забором, а настоящей оградой — с металлическими решетками между разграничительными столбами, украшенными пафосной советской лепниной, — высится кинотеатр «Родина». Весь в пилястрах и колоннах, обрамленный на заднем плане хаотично разросшейся зеленью, он напоминает древнеримскую виллу. В тупике на его задворках, такие же, как мы, дачники ожидают автобус, курсирующий по Старобешевской трассе между городом и участками.

Здесь собрался стар и млад (пенсионеры, однако, преобладают), люди разного достатка, поодиночке и семьями, с грузом и налегке. Бодрый одноногий ветеран — в те времена большинство ветеранов Второй мировой еще не были дремучими старцами — что-то важно обсуждает с матронами в платках, оккупировавшими скамейки вдоль задней стены кинотеатра. Те, кому не хватило места на скамейках, примостились рядом на перевернутых ведрах или лениво фланируют по двору, судачат, сбившись в компании. Многие давно знакомы и то и дело приветствуют новоприбывших — соседей по даче или сослуживцев по работе. Интеллигенция представлена манерной семьей с мальчиком моего возраста и пришедшей одновременно с нами парочкой в импортных шмотках — и те, и те держатся особняком и присматриваются друг к другу. Нас с мамой тоже можно отнести к интеллигенции, но мы самым естественным образом сливаемся с толпой простых теток и дядек, потому что мы — из простой интеллигенции без запросов; мы — интеллигенция первого (мама) и второго (я) поколения: у нас нет ни амбиций, ни важных знакомств, ни рафинированных предков, чтобы подчеркнуто нести этот статус.

В закоулках здания с колоннами и внушительным фронтоном мы все смотримся первыми христианами, сошедшимися в тайном месте в надежде духовного окормления. Но беседы здесь ведутся сугубо мирские. Ветеран толкует старухам про целебные свойства барсучьего жира, на другой скамейке выясняют, где покупать качественные саженцы. В стороне с жеманным хихиканьем знакомятся между собой интеллигентное семейство и парочка «в импорте». Я глазею на голубятню и деревья за оградой, лениво прислушиваюсь к пересудам на ближней скамейке.

— Хочешь бутерброд с колбасой? — спрашивает мама.

Я возмущенно отказываюсь. Какой бутерброд в такую жару?

— Лучше открой мне ситро.

Едва сидящий поблизости пенсионер перочинным ножом откупоривает по просьбе мамы бутылку с лимонадом, как в боковые ворота кинотеатра въезжает небольшой обшарпанный автобус. Все торопливо вскакивают и, не прерывая бесед, строятся в очередь по «номерам», которые первым делом присваиваются каждому, кто появляется на остановке. Мы прибыли довольно рано, наши номера — во втором десятке, а значит, — ура! — нам достанутся сидячие места, не придется всю поездку стоять в проходе, и мои пластинки не поломаются в давке.

\* \* \*

Когда наконец все влезли и устроились, ужались и притерлись, автобус дергается с места, аккуратно вырывается через боковые ворота и пересекает улицу Куприна, чтобы съехать на дорогу, ведущую из города.

Улица Куприна представляет собой нечто вроде символической крепостной стены — цепочка хрущевек, в середину которых, как бриллиант в центре диадемы, вклинилась добротная сталинская пятиэтажка. Эта последний фронт города на юге, последняя на нашем пути улица, в застройке которой улавливается намек на инженерный замысел. Дальше начинается неупорядоченный вид поселения, то ли посад, то ли слобода. Прихлебывая из бутылки выдыхающееся сидро, я разглядываю из окна автобуса невообразимые кварталы, где девятиэтажные инсулы отделены от сельских подворий заросшими или, наоборот, вытопанными пустырями, и только диву даюсь, как люди могут жить в условиях настолько вопиющей внешней неорганизованности. Уж в Москве-то, наверно, нет такого безобразия, думаю я, как и положено думать несостоявшейся москвичке.

Где-то там, в ложбине за заборами и зарослями, течет Кальмиус, наша странная призрачная речка, маскирующаяся то ручьем, то ставком на своем пути к Азовскому морю, но с дороги ее не увидишь, сколько ни смотри, — и я быстро о ней забываю, тем более что автобус уже пролетел окраинные кварталы и вырвался в степь.

Принято считать, что степь ровная, но это не так. Степь похожа на небрежно брошенное покрывало со множеством складок. Степь вся — из перепадов рельефа, плавно перетекающих друг в друга «горбов», которые, если смотреть на них из низины, кажутся уходящими к горизонту всхолмьями. Им, конечно, далеко до внушительности, скажем, тосканских холмов, зато и тени они почти не отбрасывают, издали их тень не более чем мимолетная дымчатая поволока; летом их вид, откуда ни глянь, весел, раздвоен, лишен мрачности.

Авдотьино, большое село на нашем пути, стоит так близко к городу, что его можно принять за случайно отбившейся район-поселок. Однако дома здесь сильнее выражают индивидуальность своих владельцев, усадьбы шире, улица просторней — все эти признаки как бы подчеркивают: «Это вам не город, это село; здесь у нас свои порядки».

Проскочив Авдотьино, мы снова уносимся в степь. Заскучав от лесопосадок за окном, я утыкаюсь в свои пластинки и так увлекаюсь изучением обложек, что не обращаю внимания, как автобус сворачивает к абрикосовой роще. «Роща» — излишне пафосное название для дебрей из несортных абрикосовых деревьев, плоды на которых владельцы ближайших дач из жадности обирают полузрелыми, чтобы, упаси боже, их кто не опередил.

Еще поворот — и мы приехали! Остановка посреди главной улицы-«линии». Кое-как заасфальтированная дорога уходит от маленькой площади по длинному низкому склону на другой конец поселка, туда, где на зеленом поле лирически туманится ставок. На ближних участках с мягким стуком падает шелковица. Застывший от жары воздух. Безмятежность. Город кажется отсюда далеким, нереальным, расположенным в другой стране, в несоприкасающейся Вселенной.

Изнуренные ездой и жарой, дачники разбредаются. Мы с мамой сворачиваем на повороте и идем по неширокой дорожке с утрамбованными колесами полосами, между которыми разросся клевер. И вот она, наша дача, — всегда немного неожиданно появляется слева; знакомые очертания домика из серого камня с плоской шиферной крышей каждый раз с трудом угадываются в тени старых черешен и кустов малины.

\* \* \*

Отец выходит нам навстречу из междурядьев винограда. Пока они с мамой обмениваются новостями, я устраиваю привычный обход: смотрю, какие цветы расцвели, созрела ли черешня, подросла ли елка у дома, посаженная десять лет назад в честь

моего рождения. Вообще-то, это сосна, которую переквалифицировали в «елку» в связи с тем обстоятельством, что слово «елка» я выучила раньше.

Под сенью стареющих фруктовых деревьев «елка» растет медленно, хотя и не чахнет; редкие ветви и все еще неустойчивый ствол придают ей сходство с долговязым подростком. Мне приходит на ум, что ее нужно полить, и я иду за ведром на другую сторону дома — туда, где под низкорослыми яблонями стоит сколоченный из досок стол с парой шершавых лавок.

— Вот она, — говорит мама отцу, увидев, как я выныриваю из-за угла, и обращается ко мне: — Спроси папу про Москву.

Я уже совершенно забыла про «свободное распределение». Я давно вычислила по определенным признакам, что все известные писатели в нашей стране жили или живут либо в Москве, либо в Ленинграде — значит, чтобы попасть в их ряды, выделиться, обратить на себя внимание, мне предстоит как-то отыскать пути в эти далекие недоступные города. Но признаваться в этом я не хочу, потому что знаю, что родители отмахнутся, не воспримут всерьез. Мое желание попасть в столицу и стать там писательницей должно пока оставаться тайной. Однако матери интересно, какой у нас с отцом получится разговор; видно, она как раз рассказывала ему о том, как забавно я отреагировала, узнав, что могла бы родиться москвичкой. Недовольная ее вмешательством в такую деликатную плоскость, я нехотя бормочу свой вопрос о Москве.

Отец задумывается на несколько секунд и спрашивает сам:

— А зачем туда ехать?

Такой поворот темы застает меня врасплох.

— Ну, — отвечаю я с некоторой осторожностью, — это большой город. Это столица. Там... Там больше возможностей, — вспоминаю я услышанную где-то фразу.

— И здесь много возможностей, — говорит отец. — Какие тебе нужны возможности?

Я насупленно молчу. Я знаю, какие возможности мне нужны: возможности стать писательницей. Но я уклоняюсь от ответа. Писатель для моих родителей — это эфемерная личность из новогоднего «Голубого огонька», из заоблачных высот советской конъюнктуры. В их среде никогда не было никаких писателей. Их опыт жизни говорит о том, что простой советский человек имеет шанс преуспеть, только если имеет востребованную, приземленную и понятную всем профессию. Нас разделяют мировоззренческие установки: они из первого поколения интеллигенции, а я — из второго. Выбиваясь из нужды, они ставили себе цель не голодать, а для меня вопрос голода не существенен, моя жизненная цель — состояться в своем призвании. Это не каприз, это общий закон развития рода: дети должны ставить себе более высокие планки, чем их родители.

— Здесь есть все, что и в Москве, — с расстановкой, свойственной северянам, говорит отец. — Предприятия, работа по специальности. Театры, кинотеатры, школы, больницы. Институты. Университет есть. Вон ботанический сад даже есть.

Я не собираюсь спорить, делаю вид, что соглашаюсь, киваю, натужно мямлю: «Ну, в общем, да», а сама исподлобья взглядываю на отца. Интуиция подсказывает, что что-то здесь не то. Его ответ подозрительно смахивает на выжимку из пропагандистского клише о том, «как хорошо в стране советской жить».

Мы с отцом лицемерим каждый по-своему: я не могу открыть причину моего пристального интереса к столице из боязни осуждения, он прячет под бытовой советской риторикой — она специально подогнана для таких целей — сложные вопросы жизненных выборов. Мы не можем пробиться к обоюдному пониманию, нам не хватает для этого коммуникативных инструментов. И он, и я чувствуем себя одинаково неловко.



— Зачем приходила-то? Может, есть хочешь? — спрашивает мама, видя, что разговор выдохся.

Я вспоминаю про «елку», мне дают пластмассовое ведро, помогают набрать воды из бака, и я облегченно ретируюсь за дом, продолжая сосредоточенно размышлять, что заставляет отца не замечать разницу между Донецком и Москвой. По его словам выходит, что Донецк по всем свойствам чуть ли не лучше Москвы. Не может же мой умный, умудренный отец так доверять пропаганде, когда даже я, десятилетняя девочка, уже имею представление о реальных ценностных иерархиях! Но в то же время он и не врет — его обычная тяжеловесная прямолинейность не позволила бы ему сказать неправду.

Вот подкинул он мне задачку: променял Москву на донецкую степь — а я теперь ломаю голову, как мне отсюда выбраться! Насколько мне известно, есть всего четыре способа попасть в недостижимый мегаполис: разменять квартиру, найти работу, которую, скорее всего, отказываются выполнять москвичи, поступить в московский вуз или выйти замуж за москвича. То же самое относится и к Ленинграду. Все эти варианты либо малодоступны, либо требуют слишком много жертв. Так и не додумавшись ни до чего, я пока откладываю проблему в сторону. В конце концов, мне всего десять лет; когда я вырасту, я обязательно что-нибудь придумаю.

Через пару десятилетий, когда пришло достаточное знание людей, я разгадала логику отказа отца от распределения в столицу. Как бы ни странно это выглядело, сдерживающим фактором оказалось честолюбие. Отец родом из маленького, затерявшегося на севере городка. Способность мужчин к миграции чаще всего ограничена их амбициями. Обычный предел жизненных достижений для выходца из глухой провинции — реализоваться в городе чуть покрупней, чем то место, где он вырос. Юноша, выросший в далекой деревне, ограничивает свои жизненные планы переездом в районный центр, а его сын, скорее всего, удовлетворится переездом из районного центра в областной. В мегаполисе гораздо меньше вероятности оказаться первым парнем на деревне, и это сильно бьет по мужскому самолюбию. Честолюбивые мужчины стремятся раздвинуть пространство своего влияния по своим возможностям, им неуютно жить там, где они не могут конкурировать в полную силу. Женщины намного гибче. Женщины быстрее приживаются в чужом для них мире, находят свою нишу, спокойнее выносят мысль, что не они занимают первое место в каком-либо коллективе, — именно поэтому женщин любых наций испокон веков легко разносит по всей планете за их избранниками. Если женщина к тому же честолюбива, перед ней вообще нет препятствий в плане перемещений и смены сообществ.

\* \* \*

Изгородей между участками не было. Границы обозначались в виде грядок, рядов малины, протянутой проволоки или трубы, по которой в определенные дни подавалась вода.

Заходить на соседние участки, пока хозяева отсутствовали, было не принято. Со всем маленькой я иногда отваживалась заглядывать на дачу через дорогу от нашей, болталась с бесцельным любопытством, как бродячее животное, вокруг придорожного домика, но никогда не решалась заходить в глубину соседского участка, хоть он и манил меня красивым, на мой тогдашний взгляд, даже роскошным садом. В нем чувствовался намек на то, что хозяин имеет какое-то представление о садах, предназначенных для праздности, а не для получения урожая: бак для хранения воды врыт в землю наподобие маленького водоема, фруктовые деревца с белеными стволами обрамляют

травяную лужайку, по которой змеится засыпанная щебенкой дорожка. Отец с его годным детством в семье, где пятеро сирот росли без отца, не стал бы оставлять получастка под траву, для него это неоправданное расточительство.

Зато в нашем дачном доме было три огромных окна почти во всю ширь стен, что свидетельствовало о том, что в глубине души отец был романтиком. Это он размахнулся после благоденствия в Германии. Потом пришлось корректировать с учетом реальности: чтобы не привлекать потенциальных воров излишней доступностью, два окна были наглухо забиты деревянными щитами, а третье закрыто наполовину. Из-за этого внутри всегда полутемно. Здесь есть две железные кровати и стол, а еще печка-буржуйка и множество разного хлама. Точнее, это не хлам, а садовый и строительный инвентарь, но в восприятии десятилетней девочки это хлам, делающий помещение похожим на подсобку или бункер. На подоконниках лежат взлохмаченными стопками журналы, по преимуществу «Наука и жизнь» и что-то по садоводству. Все свободное пространство у стен занимают огромные бутылки, в которых бродит виноград. В доме тесно, неуютно и почти всегда сыро. Я и мама редко задерживаемся в нем, разве что, бывает, прячемся здесь от внезапного дождя или сильной жары.

Но для отца этот дом значим. Он проводит тут большую часть недели и даже с работы часто возвращается прямо сюда, а не в городскую квартиру. Зимой, когда участки пустеют, дача выглядит угрюмой и заброшенной, но отец этого не замечает, приводя всех соседей в недоумение своей склонностью к одиночеству. Присутствие открытого пространства и возможность быть наедине с собой жизненно важны для него. Именно это качество — привычка к одиночеству как к норме — помогало поморам спокойно выдерживать ощущение бесконечной стихии в их скитаниях вдоль побережья Сибири. Но для городской жизни излишняя самоуглубленность, скорее, помеха: отец чувствует себя чужим в городе, ему там тесно, его раздражает присутствие посторонней воли; он постоянно стремится вернуться сюда, на участок в степи, где, как сказано у Хайяма:

Над головою кров и скромный угол, где бы  
Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть! (Пер. О. Румер)

\* \* \*

После перекуса хлебом с плавленой «Дружкой», колбасой (ее надо поскорей съесть, а то ведь жара, пропадет) и экземпляром всего, что произошло на грядках, мама зовет мне заглянуть с ней на «дачу вдовы».

«Дача вдовы» или «дача старушки» — это участок за нашим виноградником. Он давно в упадке. Каким бы угрюмым ни выглядел наш дом, но «дом вдовы» еще угрюмей. История стара как мир: хозяин умер, а у его престарелой супруги нет ни сил, ни желания поддерживать хозяйство. Впрочем, это еще не полный упадок. В последнее лето старушка изредка приезжала, еще пытаясь что-то предпринимать, — загорая на крыше, я успевала засечь взглядом ее белую косынку за виноградником; косынка то и дело ныряла вниз, когда вдова наклонялась над сорняками. Она всегда вела себя очень тихо, мало общалась с соседями, незаметно появлялась и незаметно уезжала; как будто, смирившись с тем, что срок ее присутствия здесь истекает, она заранее приучала окружающих к своему предстоящему исчезновению.

Окончательный поворот к полному упадку произошел на прошлой неделе, когда общие дачные знакомые позвонили нам на городскую квартиру и передали просьбу вдовы забрать на хранение с ее участка все более-менее ценные предметы, чтобы их не украли, потому что хозяйка приболела и вряд ли появится до конца сезона.

С этой миссией мы и отправляемся. Ничего особенного мы не находим: пара леек, ведро, грабли, испачканная землей лопата, приставленная к косяку двери. Пока мама проверяет дверь — не взломана ли, — я обхожу по периметру островерхий деревянный домик.

На участках запрещено строиться фундаментально, поэтому большинство деревянных строений здесь либо напоминают будки, либо будки и есть. Но дом вдовы уже даже не будка: в нем явственно проступают черты лачуги, осевшей и покосившейся. Это тот нередкий случай, когда форма запаздывает за изменившимся содержанием: сохраняя на момент смерти хозяина видимость порядка, дом стал знаком запустения, лишь когда сам стал разваливаться. Теперь он — зримый символ угасания и смерти, который я постигаю через дуновение внезапной тоски. У меня беспричинно портится настроение, мне хочется поскорее уйти отсюда.

Мы возвращаемся, таща с собой все, что удалось обнаружить из жалкого имущества вдовы. Я с удивлением обнаруживаю, что неожиданно налетевшая тоска рассеивается, как только мы пересекаем межу, — хотя совершенно уверена, что приступ печали повторится, стоит мне вновь приблизиться к заброшенной избушке. Так я получаю первый урок эмоциональной символики пространства.

Позднее, забравшись на крышу, я бросаю осторожный взгляд в сторону «дома вдовы», чтобы удостовериться, что его грустная аура не действует на расстоянии. Издалека эта развалина вполне гармонично вписывается в зеленые дебри, не вызывая никаких особых эмоций. Но я все равно стараюсь поменьше взглядывать в ту сторону, и, когда мне случается оторвать глаза от книги, предпочитаю смотреть на кукурузное поле за нашим поселком: справа оно обрамлено упомянутой уже абрикосовой рощей, а слева выходит к селу Марьяновка, ближайшему к нам — всего в двух километрах — очагу цивилизации.

\* \* \*

В целом с соседями нам повезло. Сосед слева — деловитый пенсионер. Он приезжает нечасто, но хозяйство у него налажено неплохо. Мы с ним в любезном шапочном знакомстве; ни нам, ни ему ничего особо друг от друга не надо, разве что он иной раз подбрасывает нас с мамой до городской квартиры на своей машине — он и в городе живет неподалеку, в ближайшем от нас квартале. Его дача зрительно дополняет нашу: деревья с его стороны межи посажены так, будто продолжают наш сад, эстетически расширяя пейзаж и создавая дополнительный объем для взгляда.

За его дачей — наискось от нашей — находится дача Таранцов. Из-за выразительности этой фамилии я долгое время была убеждена в детстве, что «таранец» — название какой-то народности или представителей необычного рода занятий. «Таранец» рифмуется со «скворец», всякий раз, когда мне случается подумать об этой семье, мозг с дурацкой услужливостью сразу подсовывает «скворцов». Они и правда, и муж и жена, похожи на дружных хлопотливых скворцов, что-то бесконечно улучшающих в своем гнезде.

Несмотря на внешнее благополучие, в семье глеет трагедия: дочь тихо угасает от врожденной болезни кровообращения. Но пока все в порядке: родители бодры и полны энергии, дочь еще поддерживают силы молодости.

Участок Таранцов — как картинка. Все здесь сделано основательно, по уму, все на своих местах. Их дачный дом создан по каким-то неведомым законам, позволяющим обманывать зрение: с виду это обычный деревянный сарай, каких здесь большинство, но, приглядевшись к нему внимательнее, нельзя не отметить с одобрительным удивлением: «Нет, все же это дом, настоящий полноценный дом; здесь можно жить со всеми удобствами».

Эта двойственная иллюзорность призвана обмануть инспекторов, которые время от времени обходят участки, чтобы выявить нарушителей, использующих дачи не по назначению. Дом Таранцов — с секретом. В прихожей между крохотными кухней и комнатой есть кладовая для хранения складной лестницы. «Кладовая для стремянки» — версия для инспектора. Для немногих посвященных это замаскированный ход на жилой второй этаж, иметь который запрещено правилами дачных кооперативов. Умелые руки хозяина закрепили складную лестницу таким образом, чтобы в зависимости от обстоятельств ее можно было одним движением либо снять с крепителей, либо, наоборот, зафиксировать и одновременно разложить для прохода. Таранцы часто остаются на ночевку, поэтому спальня им нужна, но она также является проявлением осознанного своеволия, кукишем в кармане, яркой искрой в однообразии быта, добавляющей немного драматизма в пресную жизнь советских людей. Долгие годы Таранцы тщательно (они всегда все делают тщательно) хранят этот секрет. О жилом чердаке знают лишь самые близкие друзья, в числе которых мои родители.

Хорошо протоптанная тропинка от нашей дачи к даче Таранцов вдоль водопроводной трубы между рядами малины и крыжовника свидетельствует о наших давних дружеских связях. Ближе к вечеру мама идет их навестить, и я увязываюсь за ней. В этом углу делянки поселилась крапива; как я ни увертываюсь, она коварно кусает мои лодыжки. На стороне Таранцов, неподалеку от межи на маленьком аккуратном столе уютно бормочет транзистор. Приближаясь, мы заслоняем радиоволну — по сбитой настройке жена Таранца, тетя Люба, узнает о нашем прибытии еще до того, как мы возникаем из зарослей.

Мама презентует ей банку с белой черешней, а она срывает для нас огурцов какого-то особенного сорта, которого нет у нас. В условиях тотальной уравниловки у всех советских людей всегда был сильно развит спортивный интерес к чему-то особенно-му, эксклюзивному, «тому, чего нет у других», а у образцовых Таранцов это качество приобрело гипертрофированные очертания. На их участке найдется много того, чего нет у других, к примеру, необычайно вкусная гигантская смородина размером с некрупную вишню, саженцы которой были добыты родственниками контрабандой из-за границы, или маленькая плантация физалиса — причудливого растения, чьи цветки напоминают фантомные помидоры. Из цветов физалиса тетя Люба делает декоративные гирлянды на стену, а из его плодов добавку к аджике. И гирлянды, и добавка к аджике — вещи вполне бесполезные, но, как и запретная спальня на чердаке, важные в символическом смысле: они разнообразят, индивидуализируют жизнь Таранцов, добавляют им самобытности, выделяя их из множества подобных семей.

Мы пришли не только повидать соседей, но и узнать, не подкинут ли они нас до города на своей машине.

— Мы с Иваном сегодня с ночевкой, — с вежливым сожалением говорит тетя Люба.

Значит, не судьба нам с мамой прокатиться в их «москвиче». Придется трястись с полным ведром в набитом автобусе.

Изредка мы тоже остаемся ночевать. Но для этого должны сойтись планеты. Мы остаемся, когда маме не нужно завтра на работу, когда погода ясная и ближайшие дачи обжиты людьми. И тогда в уютной темноте, рассеиваемой фонарем под козырьком над входом, или светом из приоткрытой двери дачи через дорогу, или разведенным где-то подальше костром, на котором пекут картошку, можно испытать редкое чувство единения со всеми живыми существами на Земле. Мы расстилаем постели на траве под плодовыми деревьями, к одному из которых отец ранней весной приделал скворечник. Я втайне долго опасалась, что скворцы откажутся у нас поселиться, предпочтя более роскошные жилища, которые им могут предложить на других дачах. Но они оказались непривередливыми, эти скворцы; они милостиво приняли наш скромный дар, тем

самым признав нас — так, по крайней мере, я считаю — своими друзьями, а может быть, даже родственниками, членами своей скворчиной семьи.

Я лежу на простыне и вглядываюсь в горящее звездами небо — чем дальше всматриваться, тем больше звезд можно разглядеть. С отдаленной дачи, где компания молодежи печет картошку, то и дело прилетают беспорядочные, но неожиданно ясные фразы из диалогов, что-нибудь вроде «на вот этот» или «эй, ну куда?». В скворчнике надо мной ворочаются во сне птицы. Издалека, скорее всего из транзистора Таранцов, доносится эйфорический, слегка искажаемый радиопомехами голос Эдиты Пьехи, раздольно исполняющей советскую версию «Only you». Все в мире кажется соразмерным, устоявшимся, прочным, успокоительно надежным. Все люди — братья или, по крайней мере, доброжелательные друг к другу соседи по даче.

Но такие идиллии непродолжительны. С наступлением холодов здесь становится жутковато, дачи пустеют, остывающая степь предъявляет свои права на освоенные земли. На покинутые до весны участки начинают устраивать набеги бродяги.

Однажды во время зимнего запустения двое бичей наведались к отцу. Удостоверившись, что взять нечего, они спросили, есть ли вино.

— Есть, в погребе, — ответил отец.

— Ну так угости.

Пока отец лазил в подвал за бутылку с вином, опасные посетители совещались, не убить ли его, но передумали. Об этом они сообщили ему сами, размякнув и подобрев во время совместного (отказаться нельзя) распития: «Стал бы ты юлить, посылать нас лезть, мы бы решили, что это ловушка — и был бы ты сейчас труп».

В городе отец рассказал об этом случае маме, а она позднее проговорила мне.

\* \* \*

Вечером мы отправляемся на остановку. Мамино ведро почти до краев заполнено черешней и завязано по ободу марлей, в сумке уместились несколько огурцов и пучок зелени, завернутый в газету «Вечерний Донецк».

Иногда автобус сильно задерживается, и среди ожидающих распространяется предположение, что автобус сломался и не приедет или приедет, но не скоро. Если эта гипотеза подтверждается кем-то из дачного правления или только что прибывшими из города автомобилистами, тогда в разговорах на скамейках начинает всплывать слово «Марьяновка». За кукурузным полем у Марьяновки к городу ходит автобус, кроме того, там можно поймать попутку на трассе, но никто из дачников не в восторге от перспективы двухкилометрового путешествия по степи с полными ведрами. Некоторое время все терпеливо ждут, однако дело идет к вечеру, когда шоссе пустеет и шансы попасть в город уменьшаются.

На скамейках идут последние короткие совещания:

— Ну что — на Марьяновку?

— Видно, придется.

— Вы идете?

— Идем, куда ж деваться.

— Данилыч, надумали идти?

— Нет, не пойду. Заночевать решил.

Компаниями и поодиночке дачники снимаются то с одной скамейки, то с другой и выдвигаются на Марьяновку.

Подождав еще немного, пока надежда совсем не иссякнет, мы с мамой примыкаем к одной из последних групп, бредущих с ведрами к выезду из поселка. Но до Марья-

новки мы почти никогда не доходим: проезжающие в сторону города дачники на машинах то и дело подбирают ходоков, в первую очередь женщин с детьми; также бывает, что автобус, вопреки всем предположениям, неожиданно вырывается из-за абрикосовой роши бредущим навстречу степным пилигримам и, подхватив их, подъезжает к остановке, чтобы забрать тех, кто там остался.

Далее следует дорога домой — такая же, как дорога на дачу, только в обратном порядке: мы выгружаемся у «древнеримской виллы» при въезде в Донецк, пересаживаемся на трамвай, а с трамвая — на троллейбус, такой же пустой, как и утром.

По возвращении мы с мамой интегрируем события прошедшего дня в нашу городскую жизнь: я сажусь у своего многострадального проигрывателя слушать новые пластинки, а мама уходит угощать черешней тетю Зою, нашу соседку по лестничной клетке. Через некоторое время они обе, улыбаясь, заглядывают в комнату.

— А ну, девушка, быстро вставай и пойдем ко мне, — командует тетя Зоя безапелляционным и даже несколько грозным тоном, который всегда означает, что у нее есть для меня какой-то подарок.

— Тетя Зоя хочет тебе что-то дать, — констатирует мама.

Этим «что-то» оказывается тарелка только что испеченных оладий, благоухающих, толстых, лоснящихся, щедро посыпанных полудефицитной сахарной пудрой, которая, подтаяв от жара, тут же схватывается в аппетитную глазурь.

— Пстой, я масла сверху положу. У меня масло домашнее; у вас такого нет масла, как у меня. Мне его одна знакомая женщина привозит из села, — говорит тетя Зоя, кладя на оладьи порядочный кусок масла. — У нас дома в Бердянске солдаты жили в оккупацию, так один из них меня маленькую подкармливал маслом из пайка, — вдруг вспоминает она. — Маслом и еще тушенкой из банки. Добрый был. Очень меня любил.

— Вы были в оккупации? Вы помните войну? — изумляюсь я.

Как такое может быть? Война была невероятно давно, ее помнят только пожилые люди, а тетя Зоя — молодая женщина с современной прической, как у Эдиты Пьехи из телевизора.

— Еще бы я не помнила, как мы голодали! — чуть не возмущается тетя Зоя. — Четыре года мне тогда было. Никогда я не забуду, как солдат меня маслом кормил!

— А какой это был солдат? Немец?

— Нет, итальянец. Немцев мы боялись, а итальянцы были добрые.

\* \* \*

В далеком будущем, отстоящем от описываемого дня на более чем три десятилетия, осенью тринадцатого года в нашу киевскую квартиру позвонила тетя Зоя и сказала мне:

— Слушай, тут вот какое дело: нашелся покупатель на вашу дачу. Очень хороший парень, надежный, хозяйственный. Ему ваша дача понравилась — в хорошем месте, и сама дача хорошая. Запущенная, конечно, ну да он ее быстро приведет в порядок. Вы с сестрой обе наследницы, но я хочу сначала узнать твое мнение: что ты думаешь? Согласна ли продавать?

Я не была на даче много лет, но она по-прежнему присутствовала где-то в моей ментальной географии. И, видимо, занимала там значимое место, раз предложение ее продать немедленно наткнулось на мое внутреннее сопротивление. Согласна ли я продать дачу? Нет, разумеется, ни за что ее не продам, как бы запущена она ни была и даже если я там так никогда и не побываю. Но я надеюсь там побывать.

Время приносит не только потери, но и дары, и один из таких даров — исчезновение у меня страха перед первобытной стихией. С какого-то момента меня полностью покинули приступы послезакатной тоски, мучившие меня в детстве, уступив место настроению, которое я предпочитаю называть «моцартовской веселостью», поскольку оно гарантируется Вселенной каждому, кто осознал, как распорядиться данными ему способностями. Я думаю о том, что, может, совсем скоро мне хватит наконец сил без трепета войти в это разрушенное наследство. Меня тянет испытать свой обновленный эмоциональный облик, убедиться, что я, как и отец, способна пребывать без уныния пред ликом равнодушной природы. Не имеет значения, что моя дача сейчас заброшена, что на ней висят долги по земельному налогу, неважно, что это всего лишь кусок земли в депрессивном регионе. Главное, она есть. Она выполняет роль внутренней опоры. Это место, куда всегда можно вернуться, как домой. Все остальное поправимо: экономика может ожить, нравы могут смягчиться, налоги можно оплатить, дом — восстановить.

— Понимаете, тетя Зоя, — начинаю я, подыскивая слова, в которые можно вместить эти запутанные соображения, — я, наверное, не очень хотела бы продавать. Я тут недавно подумала, что, может быть, будет время, когда все как-нибудь устроится так, что я могла бы туда приезжать... Ну, все-таки — своя дача...

— Я тебя поняла, можешь не продолжать. Я прекрасно тебя поняла, — тетя Зоя решительно обрывает мое мяленье. — Это твоя дача, и ты хочешь ее оставить, что тут непонятного? Значит — все, этот вопрос мы больше не поднимаем. Как ты хочешь, так и будет. И с сестрой твоей я даже не буду об этом говорить, — и прежде, чем я успеваю ответить, она, слегка вздыхая, спрашивает: — Тянет домой, да? Я знаю, всех с возрастом тянет. Меня тоже тянет в Бердянск. Чем старше — тем сильнее тянет.

Тянет ли меня в Донецк? Когда-то давно, когда я уезжала, я надеялась, что никогда туда не вернусь. А теперь — да, пожалуй, меня тянет обратно. Посетить полузабытые пространства детства — это было бы успокоительно. В детстве думаешь, что все, что тебя окружает, останется с тобой навсегда. В детстве еще не знаешь этой головокружительной способности мира к изменениям. Лишь с возрастом понимаешь, что все вокруг преобразуется в калейдоскопическом темпе: люди уезжают и умирают, дома ветшают и разрушаются, ценности отрицаются новыми ценностями. Даже собственные взгляды могут легко трансформироваться или преломиться под ракурсом другого возрастного периода. Но пространства обнаруживают больше сопротивляемости. Пространства остаются всегда одни и те же, только смыслы на них разыгрываются разные. И это успокаивает, это дает утешительное чувство, что все же есть что-то, что остается неизменным.

\* \* \*

Меньше чем через полгода после этого разговора на Донбассе начинается продолжительный военный конфликт.

Мы с тетей Зоей пользуемся сомнительным преимуществом современных войн — общаемся через линию фронта по телефону.

— Все стало теперь очень плохо у нас, Аллочка, — рассказывает она. — Многие разъезжались кто куда, а из тех, кто остались, очень много народу погибло: от обстрелов, от голода. На Гладковке, рассказывают, хоронят прямо на огородах. Люди сильно обнищали. Особенно старики страдают: ведь Украина ваша, ты знаешь, пенсии нам отказывается выплачивать. Хорошо хоть я еще могу работать, пока есть силы. Я ведь в нашей больнице считаюсь самой пожилой сотрудницей.

В подвале нашего дома тетя Зоя с сыном и несколькими оставшимися соседями устроили убежище.

— Мы там подмели, убрали, поставили стол, стулья, кресло я принесла — и спускаемся с Юрочкой, когда стреляют; и сидим там. Но в последнее время мы туда больше не ходим. Мы решили, если уж умирать, то лучше мы вместе с домом упадем — и сразу конец, чем задыхаться под землей в завалах. Никто там нас искать не будет.

Я не решаюсь ее отговаривать. В Донецке с его шахтами мучительная смерть под завалами давным-давно отрефлексирована населением.

— Приезжайте к нам, — зову я.

Но она, как и все пожилые люди, продолжает упорно цепляться за привычный уклад.

— Как же я приеду? На что жить? Тут хоть есть работа, тут я все знаю, а там у вас ничего не знаю. Да и не очень близко еще стреляют. Не долетает пока.

— А куда долетает? — спрашиваю я, пытаюсь определить степени опасности.

— А долетало, самое ближнее, примерно за три остановки троллейбусом.

— Это там, где Южный автовокзал? — уточняю я. — Значит, это где-то полчаса ходьбы до вас?

— Где-то так, — соглашается она.

Мы уговариваемся, что если начнет «долетать» в пятнадцати минутах от них, она все-таки приедет.

— Вот ведь какая жизнь у меня: в детстве войну застала и в старости война, — вздыхает тетя Зоя.

«В детстве — война и в старости — война» — эти слова подтверждают мое давнее подозрение, что что-то с моей землей не так: все события здесь происходят не прямо-направленно, как положено в ходе эволюции, а словно подчиняясь движению маятника, от войны к войне через точку относительного равновесия. На это косвенно намекает и старое название степей севернее Черного моря — «Дикое поле», территория, упорно сопротивляющаяся освоению. Значит, придется считаться с вероятностью того, что в ближайшие десятилетия эти края будут охвачены длительным запустением, потеряют четкие признаки цивилизации; выжженная солнцем степь восстановится там, где мой отец выращивал «мускат» и «дамские пальчики».

Но я не хочу отказываться от надежды, что однажды зловещий маятник войн перестанет раскачиваться и точка равновесия будет зафиксирована.

Я рассматриваю на гугл-карте свою дачу. Со спутника она выглядит как зеленый прямоугольник. Судя по интенсивности зеленых оттенков, она заросла не меньше, чем «дача вдовы». Я уменьшаю масштаб карты и приглядываюсь к Марьяновке. В четырнадцатом году здесь шли бои. Марьяновка — стратегически значимый пункт, о ней довольно много сообщали по всем каналам, но что было в то время с нашим дачным кооперативом? Он всего лишь через поле от Марьяновки, в двух километрах или даже в полутора, если идти напрямую — уж наверняка туда наведались все, кому не лень с обеих противоборствующих сторон. Скорее всего, туда попадали снаряды. Там даже могут остаться растяжки... Война так затянулась, что мысль о растяжках на моих огородах уже не вызывает шока.

Блаженный Августин, наблюдавший падение земель Римской империи под натиском варваров, видел спасение от межчеловеческой розни не в государствах — они всегда нестабильны, каждое столетие не меньше десятка их исчезает с карты мира, — а в создании сообществ, основанных на духовном единении, на силе взаимной сострадательности, под влиянием чувства правды и справедливости. Возможно, именно этот призыв к всеобщей снисходительности, повсеместно распространившись, умерил остревелость многовековых битв между необузданными варварскими племенами и жи-



телями имперских городов, ослабленных и деградировавших в бесконечных распрях патрициев и плебса; возможно, именно это высказанное Августином упование на взаимную готовность непримиримых врагов объединяться согласием ради взаимной пользы наладило со временем справедливые человеческие связи между сообществами, обоюдно смирило ярость, гордыню и жажду мести за бесчисленные обиды. Войну всегда заканчивает не ненависть, а взаимное прощение. Если «формула Августина» спасла Европу от превращения в «дикое поле» в еще более несовершенные времена, чем те, в которые мы живем, значит, есть надежда, что она сработает и сейчас.

Но пока этого не случилось, и в ожидании более счастливых времен остается распечатывать и восстанавливать пласты скрытых смыслов прошлого, описывать все эти плохо связанные фрагменты мира, события, объединенные общим местом действия, но разрозненные настолько, чтобы не представлять особого интереса вне частной беседы или обмена воспоминаниями. Как бы ни были искажены и разрознены эти отрывки, они являются частью продолжающейся и не завершенной пока истории, заполняя белые пятна в каком-то намного более масштабном невидимом произведении, из которого прочерчиваются, сплетаясь между собой, открытые перспективы в прошлое и будущее.